

Наталья Хоменко

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ:
«МУЖЧИНЫ БОЛТЛИВЫ И ТЩЕСЛАВНЫ —
НЕ ТО ЧТО ЖЕНЩИНЫ!»

Александр Городницкий — профессор геофизики, доктор наук, академик. Впрочем, не потому знает и любит его русскоязычное население планеты. Его песни становились народными в полном смысле слова. Их пели туристы и ученые, министры и зеки, и даже, говорят, хор имени Пятницкого... Недаром не слишком почитаемый им Есенин считал, что в России поэт, чтобы быть популярным, должен писать песни, «не то так и помрешь Пастернаком».

Пока гримёр Таня колдовала над поэтовым лицом, он рассказывал: «У меня самое веселое воспоминание, связанное с гримом: как-то пригласили сниматься в фильм про пиратов, на паруснике. Вышли в море — и тут начался шторм. И главный пират бегал по палубе и кричал: «Товарищи, что же это такое? Я хотел бы умереть разгримированным!»

Уже после съемок «Фонтан-клуба», в гостиничном номере Валерий Хайт присел рядом с Городницким на кровать и давай расспрашивать: «Значит, вы были знакомы с Довлатовым? И с Давидом Самойловым дружили? А Бродский? По-моему, он повернул русскую поэзию в несвойственное ей русло...» И так — до полуночи. Так что в какой-то момент Александр Моисеевич даже процитировал своего друга Игоря Губермана: «...где соберутся два еврея — там спор о судьбах русского народа».

— Тут обо мне на АТВ у Киры Прошутинской сняли часовой фильм: в мастерской художника Бориса Жутовского сидят четыре человека: покойный Лев Разгон, Жутовский, мой друг политик, один из лидеров «Яблока» Володя Лукин, и Губерман. На столе стоит водка и закуска, разговор идет обо мне. А меня нет. И по мере того, как они допивают водку, разговор становится все непринужденнее... Во-первых, я узнал о себе массу деталей сексуально-питейного характера — они совершенно забыли, что их снимают. А во-вторых, где-то после третьей рюмки Губерман ввел «неформальную» лексику. Так что, я боюсь, фильм на экраны не выйдет. А жаль. Там такие перлы! Мы же с Губерманом знакомы с 63-го года, еще до его «посадки».

Лет пять назад, когда он впервые приезжал из Израиля в Россию, я вел его вечер в Санкт-Петербурге и получил возмущенную записку: «Как вы можете быть ведущим у такого человека, как Губерман? Что у вас может быть общего с этим пошлым, грубым, страшным, сексуально озабоченным человеком, который без мата не может шагу ступить?! Вы такой романтичный, возвышенный!..»

— Действительно, что может быть общего? Кроме того, что вы, говорят, «совместно проживали» в одной квартире и переписывались эпиграммами...

— Нет, совместного проживания не было! Это он проживал в моей квартире в Ленинграде, пока жена с ребенком были на даче! Он уверяет, что это он из-за меня начал писать свои «гарики» — якобы я послужил причиной его первых гнусных эпиграмм.

— Поделитесь!!!

— Не могу, это подрывает мой авторитет как бывшего мужчины. Лучше я вам прочитаю из последних его стихов, гениальное (я там только одно слово заменю):

Зима, крестьянин, торжествуя,
Вершит на санках легкий бег.
Ему кричат: «Какого уя?! —
Еще нигде не выпал снег!»

А детские стихи его вы знаете? У него жуткие детские стихи:

У старой водокачки,
Где садик и беседка
Играли две собачки —
Как папа и соседка.

— И все же, Александр Моисеевич, расскажите о переписке...

— Когда была первая израильская агрессия? Значит, это было в 68-м. Я тогда еще жил в Ленинграде, был женат на своей первой жене, и Губерман жил у меня в кооперативной квартире. Причем мы с ним не виделись: я утром уходил на работу в Институт Арктики, а Губерман отсыпался после ночных бдений по разным поводам — либо питейным, либо любовным. Поэтому на тахте, где он спал, оставлялись записки. В стихах. Я с ним тягаться не мог, поэтому писал попроще:

Подожди меня с работы.
В доме есть паштет и шпроты.
Весь коньяк не выпей сам.
Я вернусь к пяти часам.

Шпроты я открыл, но не успел съесть, а паштет не открыл. Когда я пришел с работы, у пустой банки от паштета лежала записка: «Милый Саша, тет-а-тет: на фига тебе паштет?» Шпроты нетронуты, под ними бумажка: «Махнула смерть бесшумным взмахом крыл: Сальери шпроты Моцарту открыл». Но самая гениальная записка ждала меня на тахте (я не без основания полагал, что, пока меня нет, Губерман водит туда девушек):

Поваливши на лежанку,
Здесь еврей имел славянку.
(Днем подобные славянки
Для арабов строят танки.)

— Александр Моисеевич, я знаю, что президент Ельцин вручил вам премию имени Булата Окуджавы, и вы ее на другой же день передали музею Окуджавы в Переделкино...

— Я сказал президенту: «Борис Николаевич, спасибо вам, что такая премия вообще стала возможна. Ведь вы знаете, что и Галич, и Высоцкий, и тот же Окуджава ничего, кроме кляуз и всяческого поношения, при жизни не испытывали. И то, что первая премия вручается мне — я понимаю, что это не мне, а в моем лице — тем, кто не дожил. Он мне: «Прально!..»

— Он, извините, хоть понял, что вы ему сказали?

— Да-а! Он вообще там шутил, девушек лапал... Вел себя как нормальный мужик. Потом как-то он сник, и нам стали говорить: «Не утомляйте, не утомляйте». А так, он на какое-то время очень оживился... Он вообще очень любит награждать, мне говорили. Ему, конечно, написали речь о роли моего творчества в развитии авторской песни, о том, что «не одно поколение выросло на песнях Городницкого», — но он не по бумажке говорил — выучил!

Это государственная литературная премия, которая присуждается раз в год за вклад в развитие русской поэзии и авторской песни. Дальше идет чудовищная формулировка: «...соизмеримый с вкладом Булата Окуджавы». В жюри — Андрей Битов, Алла Пугачева, Олег Янковский... Бардов там нет. Мне показывали стенограмму заседания жюри. Я был поражен: оказывается, когда шло обсуждение, пламенные речи в мой адрес провозгласили Алла Пугачева и Олег Янковский. Я этого никак не ожидал, лично с ними не знаком... Я потом у Ильи Резника спрашивал: «Илюша, это ты ее научил?» (Резник ведь начинал с того, что в юности пел мои песни.) Он говорит: «Да что ты, она сама!»

— Александр Моисеевич, травля травлей, но еще в 72-м году вы стали членом союза писателей!

— Вообще-то меня уже принимали в 68-м, но... Если вы читали «Соло на ундервуде» Сережи Довлатова, там описана история с первым доносом на Бродского... Я попал в хорошую компанию: Бродский, я и поэтесса Татьяна Галушко. После этого доноса меня выгнали из Ленинградского отделения Союза писателей, в Москве — 12 лет не печатали. Причем, когда донос был написан — я в это время как раз поехал в Париж, потому что моя песня «Атланты» заняла первое место на всесоюзном конкурсе как лучшая песня для советской молодежи... Бюрократия не сработала: тут уже шли обыски — а я выступал на белой Олимпиаде как «шансонье СССР-68». Я пел сразу после Шарля Азнавура!

Это меня защитило. Потому что ЦК Комсомола, который меня туда послал, разумеется, не хотел признать, что они такие лопухи. Так что, удар пришелся вскользь: я уже был в Париже, а в это время в Ленинграде шли обыски. Меня и потом пускали за границу — но по линии науки. Наша удивительная бюрократия, две параллельные линии: там — меня давили и не пускали, а по линии науки — я ездил за рубеж, плавал на «Крузенштерне».

В России всегда все очень плохо работало, даже бюрократический аппарат. Даже при Сталине, при Ежове и Ягоде, если человек узнавал, что его завтра будут арестовывать, он уезжал куда-то в Сибирь — его не находили! Его даже не искали! Они хватали другого: им надо сегодня план выполнить по врагам народа, иначе завтра арестуют самого начальника местного ГПУ. Правда! Мой покойный тесть так спасся. Он был вторым режиссером Театра Вахтангова, и когда там стали арестовывать, он уехал в Находку и там отсиделся. А потом план выполнили — и он вернулся.

— Вы тридцать лет проплавали в океане. И теперь пишете: «За день в океане я месяц отдам обыденной жизни земной...» Удастся сейчас хоть немного плавать?

— Очень мало. У науки денег нет: корабли ржавеют, продаются. Сейчас я должен был идти на Балтику в плаванье — отправил своих ребят из лаборатории, сам поехать не смог.

— Судя по Интернетовской афише, за последние три дня вы выступили в Москве в двух бард-кафе...

— Нет, только в «Гнезде глухаря». Концерт в «Беседке» я отменил. Я и вчера, выйдя на сцену, извинился: дни у нас — черные, погибают люди, гремят взрывы, — как бы неудобно веселиться. Но я — ленинградский блокадный ребенок. Я знаю, самое главное, чего хотят добиться наши враги — чтобы мы перестали жить, смеяться, петь... В блокаду было легче. Во-первых, потому, что мы знали, где враг. Люди делились на своих и на чужих. А во-вторых, знали, что если гудит сирена — надо бежать в бомбоубежище. А сейчас сирены нет. И до сих пор непонятно: чеченцы — не чеченцы...

— Я, собственно, к чему начала о бард-кафе... Как вы в принципе относитесь к такой форме концерта, как выступление в кафе?

— В принципе, положительно. Все зависит от того, для чего люди туда пришли. В «Гнездо глухаря» люди приходят пообщаться. Это та полуинтимная обстановка, где можно посидеть, поговорить — на концерте в большом зале это невозможно.

— Вам-то самому нравится такое общение?

— Н-ну как... К «Глухарю» я привык. А так, конечно, пардон, в ресторанах я не пою. Мне предлагали в Мурманске за огромные деньги в ресторане спеть одну песню — «От злой тоски не матерись» — они ее обожают. Я отказался.

— Почему?

— Ну, не могу я... *(Вдруг.)* Хотя, недавно я всю ночь пел в ресторане... под аккомпанемент Пети Тодоровского. Петра Ефимовича. Для своих, конечно. Мы были в жюри кинофестиваля «Окно в Европу», порепетировали полчаса — и на сцену. *(Городницкий — чуть ли не единственный из знаменитых бардов, никогда не аккомпанирующий себе на гитаре — ему аккомпанируют другие. В Киеве это обычно делает наш земляк Илья Винник. — Н. Х.)*

— Ваш кумир юности Амундсен считал, что всякое приключение — это результат плохо организованной работы...

— Да, я так считаю.

— Но вы же — романтик! Разве романтика и приключения — не одно и то же?

— Я любитель неизвестности. Но всегда хочется, чтобы эти приключения были не слишком серьезными.

— Недавно ко мне пришли за помощью ребята, которые нашли старую пленку: там мы с Володей Высоцким и Женей Клячкиным сидим дома у Володи — поем, беседуем. А поскольку пленка была дефицитом, то когда пели — магнитофон включали, а когда говорили — выключали. Ребята просят: «Вот тут обрывки разговоров... О чем вы тогда с Высоцким говорили?» — «Откуда я знаю?» — «Как, вы с самим великим Высоцким говорили — и не запомнили?!» Да ведь для меня все они не были великими. Это часть моей жизни.

— Александр Моисеевич, говорят, вас с вашей второй женой познакомил Иосиф Бродский?

— Ну, это не он знакомил — он сам был с ней не знаком. Просто я пришел на встречу с ним, вдруг вошла девица и сказала: «Ой, мальчики, как скучно — у вас пива нет!..» Бродский потом рассказывал, что я бросил все и побежал за пивом. Он нагнал меня на лестнице, сказал: «Дурак, куда ты бежишь? Мы же не договорили о поэзии — какое пиво?!» На что я, якобы, пнул его ногой, сказал: «Пшел вон, дурак», — и умчался. Я был уже «все».

— Неужели то самое, как у Булгакова: «Любовь выскочила из-за угла...»?

— То самое. Редко, но такое бывает. Так что, познакомились, действительно, через Бродского...

— Выражаясь сегодняшним языком, это была такая литературная «тусовка»?

— У нас было несколько литературных «тусовок» в Ленинграде. Бродский принадлежал к одной, я — к противоположной. Просто мы были современники, из одного времени. Я сейчас в книге пишу, что родина человека — это не только географическое понятие земли, где он живет. Это еще и эпоха, в которой он родился и вырос. Наша родина — та. Эта родина — уже не моя. Жить в этой эпохе — для меня все равно, что уехать в другую страну... Все уже не так: не тот язык, не те люди, не те понятия.

— Ну это все-таки какой-то постепенный переезд...

— Да, постепенный, это верно...

— Для меня ваш образ последнего времени — это строчки из «Системы Декарта»:

Но жизнь и такая мила и желанна, замечу я робко,
Пока привлекают пустая поляна и полная стопка.
Пока мы под сердцем любовь эту носим, все ставя на карту,
И робкое скерцо пиликает осень в системе Декарта.

— Конечно. *(Проникновенно.)* Потому что я — живой! Организм ветшает, но внутри-то — все остается, как в юности!

— То есть, вы не ощущаете внутренней усталости, «бремени лет»?

— Аб-солютно! Никакой старости. То есть нет, я ощущаю... потребность в новом теле. Несоответствие своей оболочке. Понимаете, я могу умереть внезапно — но я не могу состариться!

— Когда читаешь стихи ваших друзей, которых уже, к сожалению, нет — Булата Окуджаву, Давида Самойлова — кажется, что у них тоже было такое ощущение...

— Трудно сказать, мы на эту тему не разговаривали. Но думаю, что у Самойлова — было. С Булатом мы не были так близки. Да и на Самойлова я всегда смотрел «снизу вверх». Моим единственным наиболее близким другом был историк Натан Яковлевич Эйдельман... У меня вообще с друзьями плохо. Приятелей всегда была масса, миллион, а настоящих друзей — практически, не было. Это очень странно. У меня вообще странная точка зрения на этот счет: я предпочитаю друзей — женщин. Мужчины болтливы, тщеславны...

— А женщины — не болтливы?!

— О, не-ет! Женщины самоотверженны, преданны — даже во вред себе. Мужчины гораздо более эгоистичны, тщеславны. И главное, болтливы!

— Обычно женщины, наоборот, говорят, что предпочитают дружить с мужчинами, поскольку женщины слишком болтливы! Так что, рассказы о том, что у вас в каждом городе Союза «по бабе»...

— Ну что-о вы, Наташа!.. Это же байка.

— Погодите, но вы всегда повторяете, что пародии на вас писали исключительно сексуально-питейного характера. Наверняка ведь какая-то доля правды в этом есть?

— О Господи, ну конечно. Поймите, я же из другого поколения — еврейский мальчик, которого били за то, что он не умел драться. И мне надо было доказывать всем, что я не хуже других. Я начитался Кипплинга, и мне хотелось стать настоящим мужчиной. В кодекс настоящего мужчины входило несколько моментов: истерические попытки доказать, что ты храбрый (я прыгал с большого порога на лодке на пари и т. д.) и, конечно, — успех у женщин. Была поставлена задача, как один из тестов на настоящего мужчину. И я этого добился в свое время. Потом мне стало скучно. Это потеряло для меня всякую ценность.

— Так это был исключительно холодный расчет?!

— Не-ет. Это была проверка самого себя. Расчета не было никакого. Просто я мечтал о славе, я был тщеславен. Внимание женщин входило в это понятие.

— Ну славы вы добились...

— Ну и что? Дело в том, что у меня есть одно нехорошее качество... Я моментально теряю интерес ко всему, чего я добиваюсь. Вот сейчас: вышло три книжки из будущего пятитомника. (*Итого — это будет уже двадцатая опубликованная книга А. Городницкого. — Н. Х.*). Мне звонят из издательства: «Ну приезжайте, заберите!» — я три недели не могу поехать и забрать. Да пусть лежат, хрен с ними. Мне гораздо интереснее та книжка, которая еще не написана.

— Сумасшедший азарт...

— Да нет... Я еще понимаю другое: мне мало времени осталось жить. Раньше я мог тратить его на что угодно. Я теперь оно, как в песочных часах, — последние песчинки вываливаются, и мне страшно, что завтра этого не будет. Мне его жалко. Раньше я его не замечал, его было так много — и вдруг его не стало... А песня «Система Декарта» для меня действительно — самая важная. Умница, вы это поняли...